

ЖЕРТВА ВЕСЕЛАЯ

У прекрасного русского поэта Георгия Иванова, чем-то для меня неизъяснимо близкого, чуть ли не родственного духовному облику Ляли Маевской, - перепадами ли и переломами биографий, особенностями ли дарований, подобными по сложности характерами? схожими творческими интонациями? – не знаю чем! – так вот, есть у Иванова дивное стихотворение:

«Как обидно – чудным даром,
Божьим даром обладать,
Зная, что растратишь даром
Золотую благодать.

И не только зря растратишь,
Жемчуг свиньям раздаря,
Но еще к нему доплатишь
Жизнь, погубленную зря».

Конечно, Георгий Иванов написал это лично о себе: о превратностях своей жизни, о высокой бессмыслице своего творческого подвига. Но как поэт и философ он не мог писать только о себе, невольно он выразил и нашу судьбу – горький удел всех русских писателей, артистов, художников и вообще интеллигентных людей советского двадцатого века. В том числе и полную драматизма судьбу Ляли Маевской.

Безжалостная фортуна поплясала на Елизавете Людвиговне Маевской-Людвиговой всласть, - на то она и фортуна. И тут ничего не поделаешь. И этого было бы вполне достаточно. Когда же судьбу подменяет социальная (и притом социалистическая) система, это обычному человеку уже чересчур.

Преступная система вырвала Маевскую Е.Л. из привычного круга жизни в расцвете лет, оболгала, отобрала у нее самое дорогое – детей, мать, мужа, близких друзей – выпотрошила на лубяньских допросах, измордовала в тюремных камерах и лагерных бараках и, перемолов, выбросила обратно – через десяток лет! – то, что осталось от милого и к чему-то предназначенного человека.

Вот тут-то мы с ней и познакомились, в самом конце 1956 года.

Я в то время учился на режиссерском факультете ГИТИСа, на третьем курсе, у Алексея Дмитриевича Попова. А она, получив реабилитацию, решила восстановиться на учебе, потому что до посадки, оставаясь актрисой МХАТа, преподавала на гитисовском актерском факультете и параллельно была студенткой курса Н.В.Петрова, где обучалась режиссуре, между прочим, с А.В.Эфросом. И восстановилась – на нашем курсе. Так мы стали с ней однокурсниками, проучились вместе три года и оставались друзьями много лет после окончания института – всю ее оставшуюся сознательную жизнь. Поэтому я называю ее и буду дальше называть просто Ляля – так нравилось ей и так привык я.

Главные педагоги нашего курса – Попов и Кнебель – встретили Лялю повышенным, можно даже сказать, преувеличенным вниманием и заботой: полной мерой помогали ей своим авторитетом в деле восстановления студенческого статуса, уделяли ей особое время для индивидуальных занятий и бесед, не торопили ее с немедленным включением в учебный процесс. Вероятно, тут имел место некий неопределенный комплекс вины благополучного процветания перед незаслуженным и несправедливым несчастьем.

В отличие от наших педагогов, мы, студенты, встретили новенькую довольно прохладно – вежливым равнодушием. За два с лишним года совместного обучения мы

как-то притерпелись, притерлись друг к другу и стали, хоть и разные, но все же свои, а она была – чужая.

Ляля нам и не навязывалась. Она никак не акцентировала своей необычности (репрессированная, реабилитированная, невинно пострадавшая), настолько не акцентировала, что многие из нас даже и не подозревали, откуда она к нам пришла.

Появилась она незаметно, без шума, и первое впечатление от нее было какое-то серое: серый цвет лица, серые - соль с перцем – седоватые волосы, серая кофта, серо-синяя, словно бы вылинявшая, немодная юбка, серо-голубые глаза, поджатые серые губы (Лялечка тогда еще не успела, «простите за натурализм», вставить зубы, растерянные по северам и лубянкам). Яркость открылась потом – Ляля стала для меня одним из самых ярких человеческих впечатлений.

А началось все с Елены Сергеевны.

Елена Сергеевна была сотрудницей гитисовской библиотеки. Старая наша библиотека была уникальным сокровищем, и не только по богатству книжных фондов, но и по бесценности ее работников. Все библиотекарши были еще довоенные – последние сливки настоящей русской интеллигенции: добрые, умные, начитанные и вежливые до неприличия; и трешку (старыми) сунут и чай с бутербродом в голодную минуту предложат.

Елена Сергеевна была из них самая породистая: высокая, стройная, подтянутая, потрясающе интересная, прямой пробор и тяжелый узел волос на затылке, - истинная гранд-дама, воспитанная изысканно, с няньками и боннами, с гимназией и знанием шести языков. Английский. Немецкий. Французский. Итальянский. Плюс еще латынь и греческий. Я учился хорошо, на совесть, и меня поэтому в библиотеке любили и жаловали. Прихожу я как-то в библиотеку, и вся интеллигентская шобла кидается ко мне: «Маевская у вас учится?» - «У нас». - «Ну, и как? Что вы о ней скажете?» А я не знаю, что им ответить на этот ажиотаж – я к Ляле и не присмотрелся как следует; ну ходит кто-то на занятия и ходит. И тогда Елена Сергеевна рассказала мне следующее:

- Знаете, Миша, я потрясена, до сих пор не могу успокоиться. Стою вчера в читальном зале на выдаче. Подходит пожилая женщина. Незнакомая. И совсем не комильфо.
- Что вам угодно? – говорю.
- Я хотела бы получить книги.
- У нас, знаете, библиотека закрытая, не для всех. Мы обслуживаем только студентов и преподавателей. Вы... педагог?
- Нет.
- Сотрудница?
- Нет. Я – студентка.
- У вас, может быть, есть студенческий билет?
- Есть, конечно, - и подает мне билетик. Я прочла фамилию. И у меня потемнело в глазах.

Дело в том, что Елена Сергеевна работала в библиотеке очень давно и прекрасно помнила Лялю до ареста – молодую, полную сил и красоты, очаровательную женщину. Теперь перед ней стояла старуха.

Потом, когда мы с Лялей познакомились поближе, она тоже заговорила об этом.

- Подаю я ей свой студенческий билет, она разворачивает его, читает мою фамилию, смотрит на меня в ужасе и падает в обморок на стул. Я, Мишуня, сильно, видно, изменилась, неузнаваемо. Пойдем покурим

Елена Сергеевна была несентиментальна и превосходно вымуштрована дворянским этикетом более того, она и в лялином смысле имела какой-то опыт – пережила сама и расстрел отца и аресты родственников, в общем, походила по краю гулаговской пропасти, но тут не выдержала, брякнулась без сознания; не смогла совместить то, что было, с тем, что

стало. Она увидела нечто не доступное обычному зрению, нечто метафизическое и сверхъестественное – вырезанный кусок лялиной жизни. И это было непереносимо – конфискация человеческого возраста.

В тот же день, попозже, на занятиях, я исподтишка приглядывался к новой сокурснице, и на увядшем и усталом лице ее постепенно начали проступать следы чего-то мне бесконечно милого и дорогого – мягкой интеллигентности, острого, как бритва, ума, неброской и в то же время вызывающей самоиронии. На ближайшем перерыве я подошел к ней в курилке. Она, как всегда, стояла на отшибе.

- Вы что курите? – спросил я.
- Беломор.
- Я тоже. Вот, пожалуйста.

Она взяла папироску, порылась у себя в сумочке, достала оттуда кусок ваты, отщипнула немного, скатала тампончик и затолкала его спичкой в мундштук беломорины. Мы покурили и поговорили – ни о чем и обо всем, со словами и без слов. А поздно вечером в общежитии я, уже взяв хлеб, рассказал о Ляле нашим ребятам. Не скажу, что они были потрясены, но взволнованы были определенно.

На другое утро в курилке возле Ляли толклись почти все наши курящие, а через неделю она была нарасхват – все старались пригласить ее поработать в самостоятельных режиссерских отрывках.

К весне Лялочка вставила зубки, приборахла, отъелась и отогрелась в тепле привычного для нее всеобщего внимания и восхищения, стала выглядеть на свои сорок с хвостиком, не больше, и из нее фонтаном забили ее знаменитые и неожиданные «мо». Вокруг Ляли образовалась постоянная свита, а самой молодой из нас, Вадя Демин, не отставал от нее ни на шаг в надежде услышать новую остроту. Получив желаемое, он смеялся счастливым смехом и удовлетворенно потирал ручки.

Тридцать лет назад люди были другие, они были добрее, чутче, отзывчивее на чужую беду. Это теперь на каждом шагу можно услышать: «Подумаешь, сидели. Все тогда сидели. И многие, между прочим, за дело», а тогда такая мысль сама по себе казалась кощунственной и циничной.

Тридцать лет назад реабилитированные возвращались в Москву поодиночке, пачками, косяками, стайками и целыми стаями, - их было так много, что вина этих людей выглядела невозможной выдумкой, невероятной и недопустимой нелепостью. Шок от массового освобождения заключенных был таким же сильным, как шок от освобождения цен в 1992-м году. Жизнь тогда перевернулась от их возвращения. Народ, обалдевший от такого количества невинно пострадавших, потерялся, замер и примолк в ожидании. Народ был готов к покаянию, но покаяния не допустили...

Ляля никогда не опускалась до того, чтобы вставать перед нами, несидевшими, неизбывным укором. Она щепетильно не выдвигалась в центр или на первый план. Она щадила нас, и если приходилось ей рассказывать о кошмарах и ужасах лагерного инобытия, микшировала, смягчала, отодвигала от нас бредовые видения Лубянки, описывала их так, как будто было все это очень далеко и очень давно. Да и вовсе вроде бы не с нею.

Мы с Лялей быстро раскусили друг дружку, и я стал бывать у нее дома – сначала на Мясковского, затем на Удальцова, а потом поездил к ней в разные загороды и пригороды.

Там я увидел лялиных детей – дочь и сына – там я познакомился и с ее любимыми подругами и друзьями:

лучшая подруга Лена,
лучшая подруга Шара,
лучшая подруга Шурочка,
и лучшая подруга Раечка,

шурочкин муж Юра Волков, артист театра Ермоловой,
леночкин муж Джёрдж (так и выговаривалось это имя – Ляля ценила свое лондонское произношение!)
и коллега в квадрате – по лагерям и по профессии – латышский режиссер Валдемар Пуцце.

Это все были ее заполярные друзья, озаренные отблесками северного сияния и щедро награжденные звездами воркутинского и норильского неба. Иссиня-черного. Выстуженного. Не дай бог никому. И – удивительная вещь – чем больше узнавал я Лялю и ее друзей, тем больше открывалась мне жуткая правда репрессивной системы, - арестовывали и сажали не всех подряд, не кого попало, а самых лучших; истребляли цвет нации, гасили свет русского народа. Машина, хорошо отлаженная бешеными псами госбезопасности, была примитивна, но сортировала безотказно: ты подонок и подлец? беспринципный хам? потенциальный палач? – тогда наверх, к власти и кормушкам; ты, говоришь, порядочный человек? у тебя, оказывается, совесть имеется? ты добр и горд? у тебя благородство и собственное достоинство? - ну, тогда тебе только один путь, вниз, в черную дыру карцеров и зон. У гулаговских жертв была одна-единственная вина, но вина непростительная, - они были прекрасными людьми.

Излюбленная лялечкина острота о лагерях звучала примерно так: «Да. Там было невыносимо страшно и тяжело, но... какое было общество!»

Я всегда был уверен, что у меня полным-полно мемуарных материалов, что я могу сходу накатать целую кипу анекдотов и трогательных новелл о ней, но когда я сел писать эту статью и попробовал собирать, перечитывать и компоновать имеющиеся у меня воспоминания, я понял, что я совсем не знаю настоящей Ляли Маевской, что все нужно пересматривать, перетолковывать и переосмыслять. Все факты. И заново.

Нужно посмотреть свежим глазом на то, что я знаю уже много-много лет, нужно как бы встретиться еще раз с Лялей, расспросить ее получше... Но ведь самой-то ее уже нет, у нее уже не спросишь ни о чем, поэтому придется, словно впервые, знакомиться со старыми историями, с тем, что мне о ней давным-давно известно... Три таких попытки я и осмеливаюсь предложить вашему вниманию. Все они связаны для меня с мучительными переживаниями и сугубо негативными впечатлениями, - мне кажется, что именно так будет легче оттенить и подчеркнуть переворот моей точки зрения на Лялин характер и на ее проблемы.

Предвидится смена вех и контекстов.

Предстоит перевести Лялю прошлого, Лялю воспоминаний в настоящее время, «воскресить» и заставить жить еще раз, заново, - чтобы пристальнее всмотреться и успеть увидеть упущенное, новое, истинное.

Итак, история трех моих «разрывов» с Лялей Маевской (три охлаждения отношений за тридцать лет, согласитесь, это не так уж много, это – норма).

Первый наш «разрыв» произошел на идейно-нравственной почве, во время очередного семинара по философии. Семинар вел Андрей Иванович Гусев, утонченный мыслитель-марксист, как и положено в ГИТИСе, высшей пробы. У них с Лялей сложились причудливые и нескрываемо фальшивые отношения: милейший Андрей Иванович был галантен и делал вид, будто ни сном, ни духом не знает, что перед ним женщина, много лет проводившая в тюрьмах, лагерях и ссылках, а Ляля изображала светскую даму, всю свою предыдущую жизнь мечтавшую приобщиться к животворному источнику диалектического материализма. Так вот, на том злополучном семинаре, войдя в аудиторию и поздоровавшись с нами, доцент советской философии Гусев А.И. негромким голосом предложил нам включиться в дискуссию:

- Ну-с, господа студенты, кто из вас желает выразить мнение о втором законе диалектики? – процедил он с улыбкой проголодавшегося удава.

Возникла традиционная пауза: никто из господ высказываться особенно не хотел. Опытный педагог и терпеливый наставник, Андрей Иваныч изящным движением пальцев правой руки воспроизвел на крышке стола начало «Лунной сонаты». Когда музыкальная фраза закончилась и затихла, когда все до одного поняли, что дальнейшее молчание просто неприлично, вдруг подняла руку студентка Маевская. Один из нас, смешливый юноша, не удержался и прыснул, Лялочка встала и чистым голосом Деборы Пантофель-Нечецкой (со всеми причитающимися фиоритурами) пропела:

- Спросите Мишу.

Я вздрогнул и напрягся.

- Поверьте, Андрей Иваныч, Миша прекрасно знает материал. Вчера вечером он так увлекательно говорил мне о втором законе диалектики. Я уверена, что это будет полезно послушать нам всем, - повесила Ляля заключительную фермату-пианиссимо.

Меня било и трясло током, но я, стиснув зубы молча терпел. Что говорили вокруг меня Гусев и мои сокурсники, к чему, в конце концов, пришел семинар, я уже не слышал, и только когда прозвенел звонок, а преподаватель удалился из класса, я кинулся к Ляле:

- Как вы смели! Это возмутительно подло! Подставлять вместо себя другого человека! Ну не хотите выступать сами, не нужно, - сидите и молчите... в тряпочку. Такой провокации от вас я никак, никак не ожидал!
- Не сердитесь, Мишенька, я думала, вам ничего не стоит. Я была уверена, что вы все прекрасно выучили...

Но ссора разрасталась и разгоралась, она стала громкой и неприятно публичной. – Пути к примирению не было.

Я не разговаривал тогда с Лялей два с половиной месяца и, кажется, даже не здоровался с нею все это время.

Теперь-то я понимаю, каким глупым и ненаблюдательным был тогда, каким чудовищно нечутким. Я ведь не увидел самого главного: Ляля была в панике. Никаких провокаций она не затевала, она просто боялась, что вызовут именно ее, что она не удержится, что сорвется и выскажет Гусеву все, что она думает о нем и об его «науке», о которой она, кстати, говорить не могла без омерзения. А это пахивало мощным скандалом. Она же дико устала от всевозможных эмоциональных всплесков и больше всего на свете жаждала одного – покоя и тишины. Это было так понятно, так человечно, но я, видно, в то далекое время не дорос еще до ее высокой человечности.

Следующий наш «разрыв» был более драматичным – мне пришлось уйти из творческого коллектива, который я любил и в котором меня тоже любили. Был он и более продолжительным – дипломатические отношения в Лялей были прекращены и не возобновлялись чуть ли не полгода. Конечно, причина второго конфликта была принципиальнее и серьезней, но по сравнению с простыми ценностями бытия, она не стоила и выеденного яичка.

Произошло это через год или два после окончания ГИТИСа. Ляля работала на Баркана в цыганском театре, где ее нещадно эксплуатировали на 75 рэ в месяц, а я процветал в качестве младшего преподавателя театральной кафедры в Московском Институте Культуры (за 105 р.) Курсом, на котором я подвизался, руководила Ирина Александровна Мазур, бывшая воспитанница Айседоры Дункан и бывшая ассистентка К.С.Станиславского в последней его студии. Ирина Александровна оказалась вполне приличным человеком, да и педагог она была не из самых слабых – секреты системы К.С.С. получала как-никак из первых рук. У нас очень быстро сложились хорошие отношения.

То ли из сострадания к Ляле, загибавшейся от бесплодной и безысходной усталости в своем «Ромэне», то ли от желания видеться с нею почаще, не только у нее в гостях, но и на совместной работе, у меня родилась весьма продуктивная идея: а почему бы не устроить Маевскую в Институт Культуры? – и работа только три раза в неделю, и зарплата получше, не сильно, но все-таки... Я поговорил с Лялей, сагитировал Мазуршу, и дело быстренько сладилось – через полмесяца мы с Лялочкой уже сидели с двух боков Ирины Александровны, как ее верные слуги и коллеги. Елизавета Людвиговна, конечно же, сразу всем понравилась. И студентам и их руководительнице. К осени они были уже «вась-вась». И.А. и Е.Л. сошлись главным образом на ниве термосов и бутербродов. «Они вместе кушали», а я ходил обедать в институтскую тошнилровку. Я поглядывал на их сближение и радовался.

Главное событие разразилось через год, когда мы начали готовить выпускные спектакли. Ляля с Мазуршей работали над водевилем, а мне досталась пьеса Кручковского «Немцы», - о немецком концлагере, о германском фашизме, о его отношениях с немецкой интеллигенцией, о предательстве и верности вообще. Чтобы заинтересоваться самому этой довольно-таки плакатной и мелодраматической пьесой, чтобы заинтересовать ею своих учеников, я, как всегда, стал искать точки соприкосновения с реальной действительностью и, поднатужившись, придумал вот такое: мы будем играть спектакль не о немецком фашизме, а о нас с вами, о наших концлагерях, о наших стукачах и о нашей распрекрасной интеллигенции. Данная трактовка имела успех, и мы репетировали увлеченно – все приобретало неожиданную остроту и рискованность (шел 62-й или 63-й год). Естественно, что все мои фокусы дошли до Мазур немедленно. Она срочно устроила совет в Филях.

- Михаил Михайлович, я слышала, что вы проводите в пьесе Кручковского какие-то непонятные параллели между фашистским режимом и социалистическим строем. Этого не надо, и я вас убедительно прошу ставить пьесы именно о немцах, а не о русских.
 - Ирина Александровна, не беспокойтесь, мы не собираемся переименовывать ни людей, ни города, ни страны, это – только ассоциации, которыми живут артисты на сцене...
 - Таких ассоциаций на моем курсе не нужно и, уверяю вас, вам это тоже ни к чему. А уж студентам тем более.
 - Я не понимаю: так что же, этого у нас не было – ни арестов, ни доносов, ни лагерей? – я посмотрел на Маевскую.
- Ляля понимающе и сочувственно улыбалась...
- Мало ли что у нас было, - перебила нашу переглядку руководительница курса. – Тут вам, Михаил Михайлович, не театр, тут учебное заведение. Они еще дети, наши студенты, и им еще рано разбираться в столь сложных вопросах...
 - Елизавета Людвиговна, вы-то хоть меня понимаете? – пролепетал я, будучи абсолютно уверен: кто-кто, а Ляля о наших милых порядках знает все и не по чужим рассказам.

Но она примкнула к начальнице:

- Поймите, Миша: Ирина Александровна – руководитель курса и она отвечает за все, что у нас творится. А мы с вами должны помогать ей и выполнять любое ее пожелание, даже если мы с ним не согласны.

Я обомлел.

В голове у меня все перемешалось, и я перестал понимать, что бы то ни было.

- Вы что же, хотите серьезно, чтобы я завтра пришел на репетицию и заявил ребятам, что пьеса Кручковского написана только о фашистской Германии, а мы, слава богу, живем в гуманныйшем государстве и все эти «слухи» об арестах и расстрелах – злопыхательские выдумки ЦРУ и умственно неполноценных антисоветчиков?

Ляля расхохоталась и именно тогда впервые произнесла свою знаменитую хохму обо мне: «Да, Буткевич – это удовольствие, но какое дорогое удовольствие».

Мне же было совсем не до шуток.

- Того, что вы предлагаете, я делать не буду. Мне не интересно ставить спектакль о немецких делах двадцатилетней давности...
- Ну что ж, - сказала Мазур, - тогда мне самой придется ставить этот спектакль. Вы меня сильно подвели, Михаил Михайлович. Я не ожидала...
- Я так понимаю, что мне предлагается уйти с курса?

Обе дамы молчали.

- Ладно. Желаю успехов в работе. Передайте привет нашим ученикам.

Сказав это, я вышел из комнаты. Ушел за дверь. И с курса тоже ушел.

Спектакль выпускала Ирина Александровна. Мне говорили, что он был сух и неинтересен. В день премьеры студенты прислали мне своеобразный знак внимания – программку спектакля «Немцы», где среди фамилий педагогов-постановщиков была напечатана и моя... обведенная траурной рамкой. Молодые люди жестоки. Они меня поняли, но простить не могли. Или не хотели.

Теперь, всматриваясь заново в эту странную историю, я понимаю, что все повторяется и возвращается. Лялин подход к происходящему снова был шире и мудрее моего. Позже, когда мы уже помирились, она говорила мне, заталкивая дополнительный ватный фильтр в мундштук «Беломора»: «Ирину Александровну можно было понять – она трусила. Она всю жизнь провела в страхе, а теперь ей снова было страшно остаться без работы... на старости лет... у нее не было ничего, кроме этой работы». Ляля была не только мудра, но и добра, она снисходила к людям. А я был вонючий ригорист.

Третий разрыв был, собственно говоря, и не разрыв вовсе, а так – мелкая временная размолвка. Некая неосновательная с моей стороны обида, частная и довольно эгоистическая.

Вдруг и, как мне казалось, ни с того ни с сего, Ляля решила уехать на два года в Калинин, в тамошнее Культпросветучилище. Никаких серьезных возражений у меня против этого не было и не могло быть, - просто мне казалось нелепым и ненужным то, что я не смогу целых два года приходить к Ляле в гости. Потом прибавилось и немного ревности, ничего значительного, так, самая чуточка, потому что во время своих редких наездов в Москву Ляля с восторгом и часами напролет рассказывала о своих новых интересных знакомствах в г. Твери. Я снисходительно улыбался, представляя ее в окружении сопливых кепеушников и кепеушниц, и таил в себе раздраженную и злую остроту об этапировании Лялечки из ГПУ в КПУ. Защищаясь от невысказанного моего осуждения, Ляля говорила о своем сближении с коллективом Калининского ТЮЗа, о талантливом молодом режиссере Виктюке, и я живо, в ярких картинках рисовал себе, как нянчится она со своим новым сокровищем, потому что хорошо знал главную Лялину слабинку – выискивать и выдумывать разные непризнанные дарования, чтобы потом

беззаветно и бескорыстно опекать их – прикармливать, приодевать, привечать и развивать.

Теперь я понимаю, что все это происходило не совсем так, как я себе представил, а, может быть, даже совсем не так. Разглядывая заново Лялины закидоны, я вижу сегодня другое: в ней пылал неугасимый огонь, некий авантюризм просветительства; он-то и погнал ее в народ – из столицы в областной центр, из ВУЗа в техникум, из цивилизованного жилья в общежитие.

Возвратившись из своей добровольной ссылки, Ляля познакомила меня с новыми калининскими друзьями – с Ираидой и Вэ-Пэ. О, это были люди экстракласса, ничуть не уступавшие ее «северным» знакомым. Это были представители той замечательной разновидности хомо сапиенс, которую мы привыкли величать русской интеллигенцией. В них было все, что положено: блестящий ум, нравственная высота и неотразимое обаяние. Мое снисходительное отношение к провинции оказалось тут абсолютно неуместным.

Почти так же – неправдоподобным мифом – развеялось и второе мое заблуждение по поводу калининской эпопеи. Дело, оказывается, было и в деньгах – в КПУ Ляля зарабатывала в три-четыре раза больше, чем в институте. В той же Твери она выслужила себе максимальную пенсию. А я не понимал, зачем Ляле столько денег. Не понимал, потому что сам был человек несемейный, потому что привык заботиться только о себе и гордиться, что ни у кого ничего никогда не прошу. А Ляля была мать и бабушка, она хотела хоть чем-нибудь, хоть как-нибудь помогать своим близким. Для этого нужно было немало денег. И это обстоятельство тоже погнало Лялю на заработки. Я помню, с каким энтузиазмом мобилизовывала она своих друзей и, пока могла, бегала сама по магазинам, доставала продукты и забивала ими холодильник, а потом ждала, ждала, все время ждала, когда зять Стасик, приехавший раз в неделю из загорода, заберет их на прокорм многочисленных внуков и внучек. Ляля не была дельной бабушкой, но она была бабушкой страдающей.

Сострадание было бичом нашей подруги, ее невидимыми, но никогда не снимаемыми веригами. Она сочувствовала и помогала всем, кто попадался на ее пути, не только детям и внукам, но и племянникам, женам покойных братьев, матери и тетке ушедшего от нее мужа, излюбленным своим ученицам, попавшим в беду собратьям по сцене. Ромочка же Виктюк жил у нее месяцами, когда не было ему куда приткнуться. Со стороны это подчас казалось странным, но такова уж была Лялина доброта – ненавязчивая доброта исподтишка.

Она любила и жалела окружающих людей и именно поэтому была с ними панибратски резка, может быть, даже груба: избыточно употребляла блатную лексику («керя», «по фене ботаешь», «фраернулась», «сука позорная» и т.п.), надевала маску законченной эгоистки, избалованной и капризной. Все это было ей необходимо, чтобы освободить близкого человека от всяческих «трогательных» обязательств перед собою, чтобы снять с него тяжесть никому не нужного долга, чтобы оберечь и защитить душевную независимость. Она помогала людям преодолевать стеснительность и стесненность. Все это было необходимо ей и для себя, для самозащиты от неизбывной пошлости мира... Ляля была очень тонким человеком.

Таким вот образом пересматривал я старые факты. И этот парадокс переоценки, этот переворот моих мнений и знаний о Ляле – ничуть не «изгил» литературного стиля, он естествен и обычен, как течение жизни. Так было всегда: настоящую ценность дарованного нам сокровища – богатство другой души – мы узнаем не сразу. Потом. Спустя годы и годы. Когда самого подаренного человека с нами уже нет.

.....

До сих пор мы говорили о вещах обычных. Наступило время поговорить о необычном – о таланте Ляли Маевской.

Я все время думал, что же за сила, притягивающая к ней самое умное, самое лучшее, самое яркое из окружавшего ее человеческого муравейника, и только сейчас – понял: это талант, человеческая талантливость самой Ляли.

Еще при жизни Ляли проносились, бывало, но, слава богу, редко, а теперь настойчиво, хотя и невнятно, провеяли среди подруг и полуподруг два разочаровывающих мнения – о Лялиной сомнительной красоте и о ее средней одаренности (и самой, мол, хорошенькой во МХАТе не была, да и самой способной тоже). Это, как мне кажется, не мнения, это – неуместные сплетни.

Я не могу считаться крупным специалистом по былой женской красоте, тем более, что сужу о ней по старым фотографиям и рассказам самой Е.Л.Маевской, но осторожное утверждение на сей счет я себе позволю: уверен, что в молодости наша Ляля была необычайно хороша, что прелесть ее была особенная, неканоническая – обаяние живой юности, неотразимое и победительное. Эхо этого суда докатывалось порою и до меня, когда я общался с женщиной, разменявшей пятый десяток.

Зато по поводу второго мнения я могу высказаться более определенно и авторитетно, как специалист и профессионал, - режиссер, театральный педагог, как человек, попустивший через свои руки сотни артистов – будущих, бывших и настоящих. Можно с моим мнением не соглашаться, но не считаться с ним нельзя. А мое мнение таково: Ляля Маевская обладала незаурядным режиссерским дарованием и несомненным, выдающимся актерским талантом. Но каким-то другим. Непривычным и неуловимым для равнодушного традиционного взгляда. Она была при рожденной актрисой игрового театра. Ее стихией была стихия безудержной игры - наивной, как игра в «дочки-матери», и изощренной, как «игра в бисер». Без перерыва и без усталости, сутками, неделями, месяцами не прекращала Ляля своих игр – сегодня это была игра в театр как в жизнь, а завтра – игра в жизнь как в театр. Ляля постоянно излучала игру и втягивала в нее окружающих. Свою милую беспородную собачку по имени Липутка она превращала то в артистку, то в Диссидентку. «Проси у Миши прощения, падло!» - вопила хозяйка голосом разгневанной злой фурии. Собака ложилась на спину, складывала передние лапки перед грудью и умоляюще протягивала их ко мне. Потом снова прижимала к груди и снова тянула ко мне. Когда на глазах у Липутки появлялись слезы, Дядя с притворной строгостью стучала по столу: «Не наигрывай!.. Касаткина несчастная!» Однажды на полном серьезе она уверяла меня, что Липутка по ночам включает настольную лампу и до утра читает «Доктора Живаго».

Она играла везде. Однажды, прядя со своей тюремной подругой Мэм ко мне на генеральную репетицию «Цемент», явно обреченного на запрет, Ляля устроила шумный концерт в большом зале Театра Советской Армии. В первом антракте она подбежала к моему режиссерскому столику и горячо зашептала:

- Мэм в восторге. Она говорит, что после официальной премьеры вас арестуют.

Во втором антракте тема развивалась кресчендо:

- Мэм в полном восторге. Она говорит, сегодня после окончания спектакля посадят Мишу и всех его артистов.

После окончания генералки, когда публика только еще начинала аплодировать, Ляля уже хлопала возле меня в ладоши, поднимая руки над головой, и орала нехорошим голосом: «Бис!», а мне заговорщицки сообщила ликующим тоном:

- Мэм потрясена. Она говорит, что нас никого из помещения не выпустят.

А самой любимой игрой Ляли, по ее собственному выражению «самой сладостной», была игра с телефоном. Когда приходили к ней в гости ее друзья, бывшие сослуживицы, сокамерницы и солагерницы, светлоглазые узницы совести и печальные арестантки академической сцены, Ляля начинала свой неперенный спектакль – грандиозную импровизацию на тему «ГБ подслушивает»: демонстративно относил телефон в самый

дальний угол, на кровать, и заваливала его подушками; одна-две-три... один раз я своими глазами лицезрел целых четыре слоя – три подушки и ватное одеяло.

Одна такая игра сменяла другую. Дядя все время выдумывала, придумывала, фантазировала, изобретала, стилизовала и театрализовала, провоцировала и устраивала бесконечные розыгрыши. И все это делалось на уровне высочайшего театрального мастерства, щедрого и яркого до предела. Но, к сожалению, в театре тех лет такое мастерство не ценилось и мастерством отнюдь не считалось; в лучшем случае оно квалифицировалось как баловство или мелкое актерское хулиганство. Театр бытового правдоподобия отторгал игру, и лялин дар был обречен оставаться втуне.

А что было до посадки?

Было ничуть не лучше.

Живая, юная, подвижная, как ртуть, она много лет провела в Мертвом доме МХАТа, среди призраков былого величия и живых (агрессивных!) трупов костенеющего прошлого. Вероятно, Ляля была и легкомысленна и неосторожна в своих эскападах, вероятно, не укладывалась в регламент первой советской императорской сцены, может быть, невольно иногда и нарушала чинную обстановку приличного семейства, но делала это вовсе не специально, а потому только, что в ней играла молодая энергичная сила, и потому, что плохо переносила она ложную значительность.

Говорит Ляля Маевская, бывш. ЗК № 127:

- Праздновали семидесятипятилетие Константин Сергеевича Станиславского. Составили депутацию для поздравительного визита в Леонтьевский. Меня, как самую хорошенькую, делегировали от молодежи театра. Дали огромный букет цветов и комсомольский наказ. Придя в дом на Леонтьевском, я сразу погрузилась в идиотский круговорот священнодействия.
- Пройдите наверх. Вам там покажут...
- Пройдите направо. Вам там покажут...
- Вы приветствовать? Проходите вот в эту дверь.

Перешагнув знаменитый порог, я увидела знаменитого режиссера на знаменитом диване. Константин Сергеевич сидел весь благодостный и благоуханный, но все-таки очень старенький. Мне стало его так жалко, что от растерянности я сделала книксен и уронила цветы на пол. Пока я их собирала, опустившись на колени, я обнаружила, что напрочь забыла текст разученной в общежитии речи. Подняв голову, я увидела, сто Константин Сергеевич протягивает мне большую белую руку, но не так, как положено при рукопожатии, а совсем по-другому, тыльной стороной ладони вверх – по-архиерейски. Я хихикнула и, не вставая с колен, чмокнув – поцеловала ему ручку...

Тут уж и не выдерживаю и перебиваю Лялю:

- Ну и какие ощущения вы испытали?
- Знаете, Миша, это было, как если бы я приложила губами к куску хорошего туалетного мыла.

В этом анекдоте вся Ляля: заводила, зубоскалица, разрушительница занудных статусов, многокрасочный фейерверк юмора.

Но вокруг уже воцарялась официальная скука, плодились и расплозились по телу прекрасного театра многочисленные начетчики и питомцы «системы» - не той, которая загнала Лялечку на Воркуту, а ее двоюродной сестры, вульгаризованной, профанированной и высочайше утвержденной системы Станиславского. Они распространяли вокруг себя уныние и тоску. А Ляля была актерская вольница, в ней пылал свободолобивый дух импровизации. Имела место творческая несовместимость. Ляля пыталась преодолеть ее, она боролась с нею, но боролась так, как могла, - весело и полусознательно. Вот еще один пример ее «веселой борьбы».

Снова говорит бывш. ЗК Маевская:

- Я только что прошла конкурс (экзамен изображается тут же в лицах со всеми перипетиями и преувеличениями) и была принята во МХАТ. Играли мы только в народных сценах – разные мелочи. В «Царе Федоре» мне повезло, я получила там бессловесный эпизодик боярышни с зонтиком. На мне был прекрасный костюм из подлинной старинной парчи, кокошник с жемчужными висюльками, но самое очаровательное – в руках я держала большой и тоже парчовый зонт с бахромой, с темно-вишневым тростью, с резной костяной ручкой. Я была счастлива, потому что чувствовала, как хороша я в этом наряде. Мы заряжались в темноте, потом постепенно давали свет. Однажды, не помню точно – на третьем или четвертом выступлении – мне было ужасно весело, и в полутьме, поднимая зонт, я шепнула, указав на себя, соседям по массовке: «Первая парашютистка в России». Соседи прыснули, но свет уже был почти полный. Смеяться было нельзя. Но они, бедные, не могли удержаться. Отворачивались, нагибались, приседали, и все равно не могли скрыть напавшего на них смеха. В антракте артисты стали спрашивать у них, в чем дело. На следующем спектакле, когда я подняла зонт, грохнула уже вся массовка. Они помирали от удушья, сдерживая хохот, а я стояла с невинным видом, будто ни при чем. Смех заразителен вообще, а на сцене тем более, и чем серьезнее то, что мы играем, тем больше хочется смеяться. Изумительная народная сцена, шедевр режиссуры Станиславского, была сорвана по моей вине. Гриша Конский кричал пророческие слова, уходя за кулисы: «Уберите ее, я не выдержу в следующий раз!» И меня убрали. Заменяли моей любимой подругой Ниночкой Лебедевой. А на другой день ко мне подошла Мария Петровна Лилина, супруга Станиславского, и скупко сообщила, что завтра Константин Сергеевич вызывает меня в Леонтьевский к 10 часам. Я поняла все. Со МХАТом придется прощаться. Когда я поднималась по лестнице, ноги у меня подкашивались, руки дрожали, как у воровки-дебтантки, я теряла сознание от страха. Меня привели к нему. Он поднялся мне навстречу, поздоровался, глянул на меня и погрозил пальцем. Я разрыдалась – ничего не смогла – ничего не смола с собою поделывать. Он стал меня успокаивать: «Ну что вы, что вы, дитя мое? Перестаньте плакать! Присядьте. Вот так. Не бойтесь!». Я заплакала еще сильнее. Он подождал, а когда я пришла в себя, спросил заговорщицки: «А что вы им сказали?» - «Я сказала, что я первая парашютистка в России». Ну, думаю, сейчас начнется изгнание. А он засмеялся, как Гриша Конский – все громче и веселее. Потом позвал жену: «Маруся, Маруся, иди скорее сюда! Я их понимаю. Знаешь, что она им сказала, эта девчонка?» И они стали смеяться вместе. Но самое прелестное в этой истории знаете что? – Когда Нина Лебедева вышла вместо меня и подняла над собою зонт, смеху было еще больше.

Этот лялин рассказ, конечно же, блистательная импровизация, но само слово «импровизация» она почти что не употребляла; она перекрестила импровизацию по-своему – называла это «бульбочками».

Творческая оригинальность этой неповторимой женщины выявлялась в том, что для всего на свете она находила собственное, свое, сугубо личное выражение. Так, например, она изобрела собственный язык для называния симпатичных ее душе вещей и явлений: милый человек для нее был «ялочка», умная и очаровательная подруга – «прелестница», маленькое существо, приносящее радость, - «липут» или «липутка»; качества тоже обозначались по-своему – «неизбывность», «зазывный», «сладкий» и даже «уютный».

А «бульбочки» - это яркие, броские актерские и режиссерские приспособления, рождающиеся спонтанно, ассоциативно, по ходу дела.

Когда Ляля была свободна, когда не давил на нее глупый серьез окружающих и ложная, никому не нужная ответственность, она разворачивалась, и «бульбочки» сыпались из нее, как из рога изобилия. Особенно на чужих репетициях (на моих в том числе). Тут уж Ляля заводилась с полоборота – не раздумывая, раздаривала она свои «бульбочки» направо и налево, безудержно и щедро: блестящие подсказки и показы актерам, неожиданные и легкие решения труднейших сцен, непредсказуемые, парадоксальные интонации, ошеломляюще смелые детали грима и костюма. Это было разлитое море режиссерских находок и актерских откровений. Здесь Ляля была в своей стихии, здесь она была «вся из блесков и огней». Но, попадая в мертвый театр, она и сама мертвела. Кисла, блекла, как и все мы в аналогичной ситуации. Зажималась и становилась неинтересной, плоской, невыразительной – никакой. Слава богу, такое случалось редко.

Предвоенный, военный и первый послевоенный МХАТ был театром строгого жизнеподобия, и ему ни к чему были ни лялина импровизационная яркость, ни лялина чудаческая (а ля Шукшин) искренность. Ляля была там, мне кажется, и не ко двору и не по погоде. Театральная ежедневная жизнь – понемногу и постепенно – стала вытеснять ее на обочину. И тут возникает, казалось бы, абсолютно невозможная параллель с другим – великим – изгоем МХАТа, с Михаилом Александровичем Чеховым. Эта дерзкая мысль, которая может показаться сомнительным преувеличением, посещает меня все чаще и чаще – по мере того, как я погружаюсь в изучение творчества и театральной методики знаменитого актера-эмигранта. Как много похожего у них с Лялей Маевской – и в жизненной судьбе, и во взаимоотношениях с силовыми структурами советского государства, и в игровой, импровизационной природе их актерско-режиссерских дарований.

Мир тесен и в доме Ляли я познакомился с учеником М.А.Чехова Валдемаром Пуцце. Случайно ли это? Думаю, что нет.

Моя смелая, хотя и задним числом пришедшая мысль, заключается в том, что артистка Маевская, сложись ее жизнь по-другому (так же, впрочем, как и жизнь Чехова), была бы достойной партнершей выдающегося артиста. Именно теперь, когда с него снят запрет, когда возрождаются игровые основы театра, наступило время и нашей знакомой, но уже нету Чехова, нету и Ляли. Время и художник не совпали.

Разговор о том, что изуродовали и сократили ее жизнь, невольно и неизбежно переходит в разговор о том, что изуродовали и бесследно выбросили из жизни ее талант (вот главное преступление обеих систем – и системы угнетения собственного народа и эстетической системы его выхолащивания). Больно от невосполнимости потерь, от некомпенсируемости ущерба, от непоправимости судеб. Вот к чему заговорил я о таланте Ляли Маевской.

.....

Да, она была жертва, но жертва веселая.

Подумайте только: претерпев тяжелейшие личные несчастья, которых с лихвою хватило бы на сотню Ляль, пройдя через жесточайшую гулаговскую мясорубку, обнаружив, что ее творческая биография перечеркнута беспощадной рукой, она не утратила ни юмора, ни естественной, природной веселости, она не разучилась улыбаться...

Когда я видел Лялю в последний раз, она была уже непоправимо больна – не очень понимала, что происходит вокруг, не узнавала самых близких людей и не осознавала, кто такая она сама. Только некая необъяснимая радость витала над ее головой и светила, как нимб.

Она подошла ко мне, погладила меня по щеке и спросила с веселым младенческим любопытством:

- А ты кто такой?

До этого всю дорогу мы были с Лялей только на «вы»... В то же время, данное обращение так понятно: для открытой детской души все незнакомые взрослые – это всегда и везде «ты».

Затем она постояла возле двух самых дорогих и последних своих подруг – любимицы Саши и прелестницы Ираиды – и снова улыбнулась. Она не понимала, кто стоит перед нею, но глубинное и безошибочное подсознательное ощущение подсказывало ей: это что-то очень хорошее и очень дорогое. Ее улыбка была бессмысленна и в то же время пронзительна. Но об этом писать нельзя. Да, пожалуй, и не нужно.

Свой сюжет о Ляле Маевской я хочу закончить иносказательно, как и начал, - стихами Георгия Иванова:

Был замысел странно порочен,
И все-таки жизнь подняла
В тумане – туманные очи
И два лебединых крыла.

И все-таки тени качнулись,
Пока догорала свеча,
И все-таки струны рванулись,
Бессмысленным счастьем звуча...

Прислушайтесь к ассоциациям: это все про Лялю, это все о ней.

Михаил Буткевич.
11.01.94